

Князь В. Ф. Одоевский в критике и мемуарах

Содержание

В. Н. Майков. Сочинение князя В. Ф. Одоевского.....	1
В. В. Розанов. Чаадаев и кн. Одоевский.....	6
М. Г. Горлин. К столетию «Русских ночей».....	11
А. И. Кошелев. Записки.....	13
И. И. Панаев. Литературные воспоминания (Отрывок).....	14
В. Ф. Ленц. Приключения лифляндца в Петербурге (Отрывок).....	19
Д. В. Григорович. Литературные воспоминания (Отрывок).....	20
Я. П. Полонский. Из воспоминаний (Отрывок).....	21
Примечания.....	22

В. Н. Майков

Сочинение князя В. Ф. Одоевского

Собрание сочинений князя В. Ф. Одоевского, бесспорно, составляет замечательнейшее явление в русской литературе 1844 года. Одна оригинальность взгляда автора уже обращает на себя особенное, серьезное внимание критики; но она же вызывает несколько вопросов, которые мы должны решить, прежде чем представим читателям свое мнение об этом капитальном приобретении для искусства.

Прочтя сплошь, от доски до доски, все три части сочинения князя В. Ф. Одоевского, вы невольно задумаетесь над этим собранием повестей, мистических рассказов, древних и новых преданий, над отрывками из пестрых сказок, над домашними разговорами... Повторяем, задумаетесь невольно, если любите отдавать себе отчет в том, что прочли. Вы спросите, к чему ведут мистические рассуждения, наполняющие всю первую часть, и какая связь между этими рассуждениями автора и превосходными повестями, разбросанными во второй и третьей части. Вы спросите, что доказал автор в первой части и что он представил в последних.

Нам кажется, что сочинение князя Одоевского логически можно разделить на два отдела: на отдел мистики, к которому принадлежат почти все рассказы автора, названные «*Русскими ночами*» и занимающие всю первую часть, и на отдел новостей, имеющих бесспорное литературное достоинство и чуждых мистицизму. Поэтому прежде всего считаем обязанностью рассмотреть сущность мистицизма, возможность или невозможность его как системы познания и потом применять свой взгляд к разбираемому нами сочинению.

Человек, по своей духовной природе, полон сил разнородных. Как мыслящее существо, он пытается природу и человека, доискивается причин того, что видит, слышит, обоняет, осязает. Он разлагает природу химически, режет ее как хирург, анализирует как моралист и не дает ей пощады там, где она вздумает бросить камень преткновения гордому уму, могучему сознанием своего собственного достоинства. В этом направлении ум терзает природу... благородно, потому что проникает материю духом, дает ей жизнь разумную. Ум доволен и самим собою и тем, что он исследует; но доволен только до тех пор, пока ему удастся заманчивая деятельность.

Человек, как существо чувствующее и одаренное воображением, то трепещет от восторга, то страдает, то полон энергии, то бессмысленно предан апатии, то готов обнять ближнего как брата, то рад оттолкнуть его как смертельного врага.

А воображение — оно не молчит, смотря на преобладание чувств в человеке; оно то одевает мир радужным сиянием, то набрасывает на него темное покрывало. Было время, когда люди в таинственном шуме лесов слышали сладкие беседы и игры вечно юных дриад и неуклюжих сластолюбцев фавнов; пришло время, когда люди в стоне лесном разумеют одно течение воздуха, более или менее сильное, производящее движение ветвей. Было время, когда духи неба и земли запросто расхаживали по городам и деревням, как будто им в самом деле было там место. По ней странствовали боги и полубоги, сильфиды и саламандры, ведьмы и вампиры, словом, кто ни расхаживал по суше и морям, где теперь спокойно ходят пароходы и паровозы... И так человек мыслит, чувствует и создает себе образы и картины... Но где же мистицизм? — Позвольте, будет и ему место.

Чувство и мысль, чувство и воображение — вот главные пружины наших дум и мечтаний. Чем начинает человек свою жизнь? Что прежде он видит в мире — картину или загадку? Натурально первое. Человек, не рассуждая, привыкает ко всему окружающему, бессознательно живет наравне с природою, радуется солнечному свету и боится темноты, недоволен, когда его заставляют думать, и рад, когда найдут пищу воображению. И много времени проходит, пока мысль спит под баюканьем чувств и воображения, под напевами няни и рассказами старины. Для иных проходит вся жизнь, а мысль все крепко спит, и ничто ее не пробуждает. Но так сладко спится не всем, не всем даны в удел одни грезы да игрушки. Человек, возмужав, когда-то спросил себя: отчего? — и, задав себе вопрос, решал его в продолжении всей жизни и никак не мог решить; за одним вопросом следовал другой. С тех пор задача дробится, разветвляется, охватывает сетью весь мир, и мысль, пораженная собственным величием и немощью, рвется в этой сети, в иных местах прорывает ее, в других запутывается и изнемогает... Борьбу, начатую одним человеком, продолжает целое человечество; неистово рвет оно цепь, оковавшую гордость земную, и детски радуется малейшему успеху.

Таков ход человечества на пути просвещения. Прежде всего оно начинает чувствовать и представлять, а потом уже мыслить. В первый период, период чувств и воображения, народ живет, не смущая хитросплетениями ума бойко играющую жизнь чувства и фантазии. Он чувствует сладость или горечь жизни, верит, что благородство должно быть мерилом действий человека, не спрашивая, почему именно следует верить, что дух на земле — только странник, что ему дана другая светлая обитель, куда он перенесется, когда сбросит временную оболочку. Сердце бьется в упоении, созерцая величие Бога в природе, воображение теряется в беспредельности миров, создает в лесах обиталище духов; видя явление, выходящее из ряда обыкновенных, оно не хочет допытывать его, увлеченное сердечным волнением, мгновенно придает ему образ и какую-нибудь таинственную силу. Огонек на кладбище — блуждающая душа мертвеца, эхо лесное — крик лешего... и так далее. В этот период появились няяды, орады, сильфиды, гномы, русалки, демоны, домовые...

Так написано каждому народу; так было в языческой древности, так повторялось это явление и в новом мире.

Когда Запад, обновленный идеей нового учения, с жаром усвоил христианство, он был юн. Юность его выразилась и в политике, и в литературе, и в науке. Приведем в пример походы крестовые; они были мгновенным делом взволнованного чувства; тут не было предварительного обсуждения предприятия, тут не было дальновидных замыслов, заранее обдуманых: это было дело геройское, и вообще средние века составляют геройский период истории Запада. Рассеянные толпы крестоносцев, бросившись на Азию, погибли в ней оттого, что не сообразили средств войны. Литература средних веков не походит ни на классическую, ни на новейшую. Поражая читателя обилием чувства, внутреннего содержания и странностью форм, не имеющих места в жизни действительной, перемешивая события, времена и лица, она набрасывает на мир свое собственное покрывало, более или менее мистическое. И не мудрено — на Запад были перенесены Библия и алькоран. Суровый дух западных дикарей, проникнутых возвышенной идеей любви христианской, выражался то в рыцарстве, то в строгой аскетичной жизни, то в нежных и геройских песнях трубадуров, то в самых отвлеченных богословских спорах. Иначе и не могло быть — верование руководило

чувством. Картины воображения более пленяли человека, нежели холодные выкладки ума. Так, юные народы не могли устоять от обольщения алькорана, принесенного маврами. Несмотря на все отвращение христиан от магометан, первые не могли не восхищаться Кордовой и Гренадой, они прислушивались к песням аравитян и их ученым толкам. Разительным примером служит ученый Жербер. Сперва он долгое время учился в монастыре Орильяк, потом, желая более углубиться в науки, принесенные с Востока, отправился в Толедо; там арабские ученые посвятили его в таинства математики, астрологии и магии. Возвратившись из Толедо, он был начальником монастыря, потом воспитателем Гуто Капета, потом епископом реймским и наконец папой под именем Сильвестра Второго. Папа — воспитанник арабских магов и славы христианской!

О состоянии наук говорить нечего — мистицизм был исходным пунктом учения как в науках нравственных и естественных. Науку создавало воображение, а не ум.

Все нами сказанное клонится к тому, чтобы показать время, когда в первый раз появился в Западной Европе мистицизм, обусловленный несовершенством образования и преимущественным развитием чувства и воображения. Посмотрим, не бывает ли еще состояние духа, когда сей последний склонен к сверхъестественному.

Мысль, как сила, враждебная фантазии, сперва гонит чудесное, а потом в свою очередь приводит к верованию в мир тайный, неведомый на земле, недоступный ни глазу, ни уху. Сначала она дерзко начинает испытывать природу и узнает многое; обольщенная успехом, она делается горда, но ненадолго. Везде она узнает одни явления, не доходя до сущности вещей. Вопросы, которые более всего хотелось бы человеку решать, становятся самыми затруднительными задачами. Дойдя до вопроса: что такое душа, откуда она, зачем она здесь и куда скроется по смерти тела — ум цепенеет, видя свое бессилие; постигнув законы тел небесных, мы узнаем одни только формы жизни, — а этого еще не много. Сама жизнь ускользает от нашего уразумения. На земле видим мы также одни только законы, по которым развиваются существа органические и неорганические. Как быть? Мысль сама себя теснит и подкапывает, является вновь потребность воображения, необходимо пополнить пробелы в заключениях ума, а достигнуть этой цели нельзя иначе как фантазией, которая должна спасти мысль от самоубийства. Когда человек дойдет до этой точки развития, тогда он, как существо нравственное, всесторонен. Перед тем, чего не может постигнуть его ум, он смиренно преклоняется и говорит: «Не знаю», ум совершил на земле все, что мог совершить. Он остается в стороне, не берется за решение задач, для которых у него недостает необходимых данных; зато, в свою очередь, он их и не отвергает.

Мистицизм для одних начинается с самых обыкновенных явлений, потому что они не могут или не хотят их исследовать, предоставляя воображению создать какой-нибудь образ; и в наше время есть люди, которые не без трепета видят блуждающие огни и неравнодушно слушают рассказы о ведьмах. Для других сверхъестественное начинается гораздо выше, там, где просвещенная наукою мысль не может решить вопросы. Итак, расширение мысли идет в параллель с ограничением круга мистицизма. Но мы говорим, что есть твердо поставленные границы ума, следовательно, есть законное место мистицизму. Но если взять в отдельности каждого человека, то один более ему подвержен, другой менее; есть даже и такие люди, которые обходятся совершенно без мистики. Не говоря о приведенной нами причине, именно о степени образованности, на расположение к сверхъестественным верованиям действуют и обман чувств, и раздражительность нервов, и болезнь тела. Сколько чудес приписывается луне, потому что ее свет удивительно способствует миру! Под ее влиянием встают мертвецы, вампиры и прочая, и прочая.

Все это мы сочли необходимым сказать прежде, нежели приступим к сочинениям князя Одоевского. Во введении к этим сочинениям мы встречаем те вопросы, которые волновали любознательную душу автора, те задачи, которые хочет распознавать просвещенный ум человека и на которые не дает ответа обыкновенный способ познания. В этом введении высказывается и идея сочинения. Вот она:

«Во все эпохи душа человека стремлением необоримой силы, невольно, как магнит к северу, обращается к задачам, которых разрешение скрывается в глубине таинственных стихий, образующих и связывающих жизнь духовную и жизнь вещественную; ничто не останавливает сего стремления: ни житейские печали и радости, ни мятежная деятельность, ни суетное созерцание; сие стремление столь постоянно, что иногда кажется, оно происходит независимо от воли человека, подобно физическим отправлениям; проходят столетия, все поглощается временем: понятия, нравы, привычки, направление, образ действия, вся прошедшая жизнь тонет в недостижимой глубине, а чудесная задача всплывает над усопшим миром; после долгой борьбы, сомнений, насмешек новое поколение, подобно прежнему, им осмеянному, испытует глубину тех же таинственных стихий; течение вновь разнообразит имена их, изменяет и понятие об оных, но не изменяет ни их существа, ни их образа действия; вечно юные, вечно мощные, они постоянно пребывают в первозданной своей девственности, и их дивная гармония внятно слышится посреди бурь, столь часто возмущающих сердце человека. Для объяснения великого смысла сих великих деятелей естествоиспытатель вопрошает произведения вещественного мира, сии символы вещественной жизни, историк — живые символы, внесенные в летописи народов, поэт — живые символы души своей».

Чтобы еще более видеть, что хотел описать в своем сочинении автор, выпишем еще несколько строк, чтобы лучше показать, выполнил ли он заданную себе задачу:

«Наш XIX век называют просвещенным, но в самом ли деле мы счастливее того рыбака, который некогда, может быть, в этом самом месте, где теперь пестреет газовая толпа (эти рассуждения происходили на бале), расстилал свои сети?» Что вокруг нас?

«Зачем мятутся народы? Зачем, как снежную пыль, разносит их вихорь? Зачем плачет младенец, терзается юноша, унывает старец? Зачем общество враждует с обществом и еще с каждым из своих членов? Зачем железо рассекает связи любви и дружбы? Зачем преступление и несчастье считается необходимою буквою в математической формуле общества?»

«Являются народы на поприще жизни, блещут славою, наполняют собою страницы истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то беснование, как строители вавилонской башни, — и имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий».

«Здесь общество страждет, ибо нет среди его сильного духа, который смирил бы порочные страсти, а благородные направил к благу».

«Здесь общество изгоняет гения, явившегося ему на славу, — и вероломный друг, в угоду обществу, предаёт позору память великого человека».

«Здесь движутся все силы духа и вещества; воображение, ум, воля напряжены — время и пространство обращены в ничто, пирует воля человека, а общество страждет и грустно чует приближение своей кончины».

«Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы; как взнузданный конь, человек прилежно вертит все одно и то же колесо общественной машины, каждый день слепнет все более и более, а машина полуразрушилась: одно движение молодого соседа, и исчезло стотысячелетнее царство».

«Везде вражда, смешение языков, казни без преступления и преступления без казни, и на конце поприща — смерть, ничтожество. Смерть народа... страшное слово!

„Закон природы!“ — говорит один.

„Формы правления!“ — говорит другой.

„Недостаток просвещения!“

„Отсутствие религиозного чувства!“

„Фанатизм“».

«Но кто вы, вы, гордые истолкователи таинств жизни? Я не верю вам и не имею права не верить! Не чисты слова ваши, под ними скрываются еще менее чистые мысли».

«Ты говоришь мне о законе природы; но как угадал ты его, пророк непризнанный? Где твоё знамение?»

«Ты говоришь мне о пользе просвещения! Но твои руки окровавлены!»

«Ты говоришь мне о вреде просвещения! Но ты косноязычен, твои мысли не вяжутся одна с другою, природа темна для тебя, ты сам не понимаешь себя!»

«Ты говоришь мне о форме правления! Но где та форма, которую ты доволен?»

«Ты говоришь мне о религиозном чувстве! Но смотри, черное платье твое опалено костром, на котором терзается брат твой; его стенания невольно вырываются из твоей гортани, вместе с твоей сладкою речью!»

«Ты говоришь мне о фанатизме? Но смотри — душа твоя обратилась в паровую машину. Я вижу в тебе винты и колеса, но жизни не вижу!»

«Прочь, оглашенные! Не чисты слова ваши: в них дышат темные страсти! Не вам оторваться от житейского праха, не вам проникнуть в глубину жизни! В пустыне души вашей веют тлетворные ветры, ходит черная язва и ни одно чувство не остается незараженным!»

«Не вам, дряхлые сыны дряхлых отцов, просветить ум наш! Мы знаем вас, как вы нас не знаете; мы в тишине наблюдаем ваше рождение, ваши болезни и предвидим вашу кончину. Мы плакали и смеялись над вами, мы знаем ваше прошедшее... Но знаем ли будущее?»

Следовательно, вот та картина, которая представлялась автору и которую он допрашивает. Заданную задачу должно решать. Посмотрим, какое лекарство найдем мы в книге против всех исчисляемых зол общества. А эти бедствия общественные велики; над устранением их давно трудится человек, но они постоянно живут вместе с человечеством. Как плоды долголетних трудов человека, возникли науки. Но эти науки недостаточны, и автор исчисляет, чем несовершенна медицина, математика, физика, химия, астрономия, законы общественные, политическая экономия. Мы согласны с ним, что всякое дело рук человеческих несовершенно, потому что сам человек несовершенен; но чтобы доказать недостаточность наук, необходимо разобрать все начала каждой науки, показать шаткость каждого начала, сказать, в чем именно заключается ошибка. Одним словом, науку должна судить наука, иначе ничего не будет доказано. А в этом, кажется, и состоит ошибка автора; видя несовершенство и уклонение от настоящего пункта, он проникнут благородным негодованием, он хочет исправить недостатки, но в этом случае одного чувства негодования еще недостаточно для того, чтоб опровергнуть систему...

Мы говорим, что мысль человека, в полном ее развитии, не может развязать многих вопросов жизни человеческой. Следовательно, что остается делать? Верить — чего доказать нельзя за недостатком основания, того и доказывать не должно. Затем остается облечь верование в форму; это дело воображения каждого человека. Здесь дело индивидуальности, дело частного воззрения. Следовательно, наука, как нечто общее, как начало, примиряющее частности, не имеет к мистицизму никакого родственного отношения...

Обращаемся к сделанному нами вопросу: можно ли, на основании мистицизма, создать чисто литературное, общедоступное произведение?

Был век, повторяем мы, когда чудесное нравилось: это был такой период развития человека, когда воображение заменяло ум, фантастические образы заменяли наблюдательность. Тогда фантастический элемент был законным, необходимым, естественным. Но средние века миновали, с ними миновалась и мистика. Мы требуем теперь, да и всегда, кажется, будем требовать от литературы выражения общества, его развития, духа народа; требуем, чтобы писатель в произведении передал все возможные изгибы сердца человеческого, чтоб он представил мир, который бы каждый, положи руку на сердце, поверил собственной страстью, собственным волнением. А как поверите вы мистическую слабость человека? Она относится лично к какому-нибудь человеку и имеет у него свою историю, свое значение. Чувству и мысли даны законы; но мистицизм многим может казаться странностью; все, что можно о нем сказать, будет составлять для человека образованного анекдот, который никто не вправе ни отвергнуть, ни принять и который вправе каждый или принять, или отвергнуть. Только низшие классы общества, которые и в наше время стоят в отношении к развитию не слишком высоко, создают поверья и легенды и ими стараются объяснить какие-либо факты жизни духовной и природы, и тогда эти легенды и поверья законные, как

выражение верований народных; образованный человек только и может смотреть на них с этой стороны. В литературном же произведении, когда вы будете заинтересованы разыгрывающеюся страстью человека или будете следить за развитием его характера, и вдруг вам наговорят чего-то непонятного, выведут на сцену духа, — вы ничего не поймете, скажете: может быть, это и правда, да только мы этого не можем проверить на самих себя. Одним словом, интерес литературный никогда не может быть основан на мистицизме...

В. В. Розанов

Чаадаев и кн. Одоевский

— Губы! Губы! Пока не удались губы, я считаю портрет *не начатым*, — так однажды сказал Репин в разговоре со мною...

И вот я смотрю на «губы» Чаадаева и князя Одоевского в двух великолепных изданиях московского «Пути» (книгоиздательство М. К. Морозовой): в первом полном издании «Сочинений и писем» П. Я. Чаадаева под редакцией М. Гершензона и «Князь В. Одоевский. Русские ночи» в редакции С. А. Цветкова.

«Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий — я», — говорят губы Чаадаева, этот маленький, сухой, сжатый рот, который даже на улыбку матери, наверное, не ответил бы чем-нибудь соответствующим. Впрочем, как-то и невозможно представить себе «мать Чаадаева», «отца Чаадаева» и его «танцующих сестриц»; он вообще — *без родства, solo*, один, только с знакомыми в петербургском и европейском свете, и «друзьями», беседующими с ним в кабинете, но причем не он их слушает, а они его слушают». И говорит он по-французски, как по-французски написал главный свой труд — знаменитые «Философические письма», напечатанные <Н. И.> Надеждиным в «Телескопе»: как бы русская речь была ему не совсем послушна и, может быть, несколько брезглива...

Лоб умеренный, — и вся масса головы как бы сплывает в лицо, в массив щек и подбородка, которые будто говорят: «Вот — я *первый* у Русских получил *лицо*: доселе были морды, по которым били (разумелось — «правительство»). Но я получил *лицо*, которого никто не посмеет ударить. И оно говорит только *папе*, и говорит оно только о предметах всемирной значительности, которые едва ли могут быть поняты по сю сторону Вержболова. Почему я и разговариваю по-французски: — «Оттого рот у меня и маленький; я скажу немного слов, только папе и о всемирной истории: но ни одно слово о *пустяках*, к числу которых я причисляю, извините, и Россию, не вырвется из этого рта...»

Он говорил собственно папе; но как папе в то время было «некогда», то он и обратился с «Философическим письмом» к избранной петербургской даме, начав его: «Adveniat regnum tuum. Madame, c'est votre candeur, c'est votre franchise, que j'aime, que j'estime le plus en vous». Т. е. по-русски, по-бедному: «Да приидет Царствие Твое.

Мадам, чистосердечие и прямодушие ваше — вот то, что я более всего в вас люблю и почитаю». И т. д.

В «Письмах» он развивал ту мысль, что стержнем всемирной истории служит религия, что в христианстве — этим стержнем служит церковь; что «все из рук Христа и апостолов» получили папы, отчего двинутая собственно папами Европа и достигла на всех поприщах великих успехов, великой гражданственности, великого искусства, великих наук и философии. Тогда как Россия и Восток... остаются *деревней*, не слушая католической мессы и не слушая красноречивых итальянских и французских проповедников, таких же бритых, как сам Чаадаев, и тоже с мясистым, грузным подбородком, говорящим о силе, уверенности и напоре воли...

По северным и петербургским обстоятельствам «Письма», как известно, попали не к папе, и даже не к «мадам», а в скверную нашу цензуру, к сухому и почтительному «к начальству» Бенкендорфу... «Пошла писать губерния», Надеждин был сослан в Вологду, а к Чаадаеву должен был ежедневно ездить врач,

свидетельствовать его умственные способности и, может быть, прописывать ему что-нибудь «успокоительное». Русские и тогда отличались великой сострадательностью: сострадая страждущему Чаадаеву, они в вознаграждение нарекли его гением, «угнетенным гением», и имя его и достоинство его пронесли до наших дней, до Гершензона, который издает его труды, письма и записочки очень кстати, потому что «Философических писем» его, по правде сказать, никто не читает и не читал, а так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».

На его мраморное, холодное, католическое лицо, даже на его плечо, не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар, не взползет во время сна козявка или червячок. И вообще ничто живое к нему не прикоснется. И не посмеет и не «захочется»...

«Я говорю, мадам...» И мадам его слушает.

* * *

Ему совершенно противоположно лицо Одоевского. Как он не сделался давно «беззаветным любимцем» русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя *где-нибудь* в провинции — вполне удивительно; он — предшественник всех «разговаривающих лиц» у Тургенева, его Лежнева и других, — предшественник философических диалогов у Достоевского и до известной степени родоначальник вообще «интеллигентности» на Руси и интеллигентов, — но в благородном смысле, до «употребления их Боборькиным». Массивный лоб его несоизмерим с чаадаевским, в сущности, очень бедным лбом; мудрые глаза; и этот большой, русский, «распустившийся» рот, какого вы не найдете ни одного во всем католичестве. В лице Одоевского масса *природы*; и точно оно все заткано паутинкой лесов, солнца, лесных речек, ну и конечно «дриада лесных...». Он знал явные и тайные «историйки сердца», а в поместье его, верно, многие крестьянские девушки «помнили доброго барина...». Но он ушел от них в Петербург, где стал заниматься «химией», в то время только что вышедшей из алхимии; стал читать «Адама Смита», которого почитывал и современник его, Евгений Онегин... И у Грибоедова, и у Пушкина рассыпано много строчек, которые без риска мы можем принять за относящиеся лично к князю Одоевскому:

Там упражняются в расколах и безверьи
Профессора! У них учился наш родня,
И вышел, — хоть сейчас в аптеку, в подмастерья!
От женщин бегают и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник —
Князь Федор, мой племянник.

Посмотрите между тем: его рассуждения понятны, интересны и новы через 80 лет!

«Скажите, почему ты, и мы — все любим *полунощничать!* Отчего ночью внимание постоянное, мысли живее, душа разговорчивее?»

Разительно — и для нас! Это, конечно, *так*, и современность ровно ничего не знает о том, почему это «так».

Один из собеседников «Ночей» пытается объяснить это тем, что «*ночью* общая тишина располагает человека к размышлению». Спросивший возражает:

— Общая тишина? У нас? Да настоящее движение в городе начинается лишь в десять часов вечера. И какое тут размышление? Просто людей что-то тянет быть вместе; от того все сборища, беседы, балы — бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи свое соединение с другими; отчего так?»

Мы не будем следить дальнейших рассуждений: пусть читатель сам перечтет их в «Ночах» Одоевского (стр. 181 и следующие¹). Но этот пример и отрывок хорошо характеризует его философскую натуру и сущность его «Ночей». В то время, как весь Чаадаев есть продукт прочитанных им книг и «нелитературного» в нем вообще ничего нет, князь Одоевский везде «поднимает с земли» какой-нибудь остановивший на себе его внимание факт, листок, песчинку, воспоминание о

¹ См. факсимильное электронное воспроизведение издания 1913 года книги «Русские ночи» кн. Одоевского в Библиотеке «Im Werden» (Прим. — *Im Werden*).

музыкальном вечере, о великом и несчастном музыканте, — или вот, например, о «ночи» и «что она такое», или, например... о картах!! И умом глубоким и пронизательным обдумывает это «поднятое с земли» явление... Таковы все его «Ночи»... Рассуждение, напр<имер>, о *картах*, до такой степени *тоном* своим напоминает некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского, что нельзя не поразиться.

«Ночью, — объясняет Одоевский, — люди собираются, чтобы защититься от мелких и злобных духов тьмы, враждебных человеку, враждебных его добродетели и даже обыкновенной порядочности». Ибо... растения, выделяющие днем целебный кислород, напротив, ночью выделяют удушливую углекислоту; к ночи больной чувствует себя хуже; ночью же совершается большинство преступлений. И лишь с восходом солнца «духи тьмы» рассеиваются, и не только больные, но и здоровые засыпают «здоровым утренним сном...». Действительно, ряд однородных и пробуждающих любопытство наблюдений. Наконец, «ночью люди засаживаются в карты». И вот, посмотрите, как это аналогично и шальной и серьезной речи Достоевского «о чрезвычайной хитрости чертей, если только это черти» в главе, посвященной спиритизму и «проверочным опытам над ним» Д. И. Менделеева:

«У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые мысли. Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая — сравнять людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения этой двойной цели, ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и, во-вторых, главное, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого философа в мире, и маленький чиновник большого вельможу. Представьте себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: „Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять“. Это якобинизм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, под видом невинного препровождения времени, поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека; зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, — все в маленьком виде; но не менее того, все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно...»

Браво, браво, Одоевский! Никогда не думали мы, что содержится столько философии в нашем преферансе. Теперь барыни, садясь «по маленькой», будут поднимать ноги под столом и туже обтягиваться юбками, пугаясь вершковых «чертей», копошащихся около них со всякими кознями, проказами и щеко-таньями...

Но ведь это в самом деле любопытно: *ночь* и ее времяпрепровождение! Тогда люди молятся (всенощная, утренняя), тогда люди сочиняют стихи; шепчут любовь друг другу возлюбленные. И ей-ей, кое-что очень хорошее творится и ночью. Именно *ночью* цветы начинают особенно сильно благоухать; а некоторые, как табак, раскрывают цветы свои. Нет, в объяснениях «ночи» я не согласен с Одоевским: но не великолепно ли, что в 20-х и 30-х годах прошлого века князь задумался о том, что люди и до сих пор не понимают, не постигли, а между тем это очевидно есть великолепная тема философии!!

Не забудем, что кн. Одоевский задумывал свои «Русские ночи», когда Карамзин оканчивал «Историю государства Российского». Какая разница в строе мышления, как (через Одоевского) понятен *Пушкин* с его универсализмом *сейчас после Карамзина!* Посмотрите, как ново было для тех времен и свежо даже для нас рассуждение Одоевского о том, что теперь зовется «экономическим материализмом», «классовой борьбою» и т. д. Зрение Одоевского простиралось *на целый век вперед!* Тогда только прощумел Адам Смит с его «Народным богатством» и выступили Рикардо и Бентам. Посмотрите же, что пишет или, вернее, как предсказывает кн. Одоевский в «Пятой ночи», имеющей характерный подзаголовок — «Город без имени» (т. е. *всякий* город, *вся* цивилизация):

Иеремия Бентам, английский мыслитель², отверг бытие нравственности как *самостоятельного* начала человеческой души и жизни, сказав, что вся нравственность есть «хорошо растолкованная польза». И вот кн. Одоевский начерчивает судьбу колонии «бентамитов», которые устроили свою жизнь по этому новому началу. Конечно, они преуспевают материально, торгово, всячески. Разорили договорами и войнами своих соседей; скупили у них земли, подорвали у них промыслы и торговлю и все положили в свой карман, «хорошо растолкованный»... Но вот что вышло в результате хорошо рассчитанных усилий и кипучей деятельности.

«При так называемом благородном соревновании (принцип Адама Смита) стало между отдельными городами происходить то, что между враждебными частями государства; для одного города нужен тут канал, а для другого — железная дорога; для одного — в одном направлении, для другого — в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей* (иронически подчеркнут Одоевским главный принцип «Народного богатства» Смита), должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя высокому началу своего общего учителя — *пользе*, — принялись спокойно наживать банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на которые было требование («Спрос и предложение» А. Смита), чтоб потом продавать их дорогой ценой; с основательностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли (принцип А. Смита) учреждать монополию (*теперешние* наши синдикаты). Одни — разбогатели, другие — разорились».

Но не только «отощал», по крайней мере с одной стороны, «золотой телец»; выпад нравственной стороны жизни из состава человеческих побуждений имел еще более печальные внутренние последствия. «Общим чувством сделалось общее уныние. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего, т. е. предпринимать мечтательно. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался домой скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдою *добыть* себе несколько вещественных выгод... Юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная, поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила и все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезной роскошью. От прежних, славных времен осталось одно только слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему».

Бентам был переведен на русский язык только через 50-40 лет после того, как в начинающейся русской философской литературе было дано это изящное, легкое и полное опровержение его теорий. И «Ночей» князя Одоевского совершенно не существовало в продаже, *не было и в библиотеках*, когда студенты и даже гимназисты зачитывались им и Д. С. Миллем, увлекались вообще утилитаризмом. И на почве же теорий Бентама была построена вся «передовая» журналистика 60-х годов, с «Современником» и «Русским словом» во главе. Чернышевский все рекомендовал «умные иностранные книжки», не прочитав *сам* одной замечательно умной русской книжки, ознакомясь с которою, он сложил бы крылья и положил перо. Поистине, дивны судьбы книг в истории; но в русской словесности «судьбы книг» не дивны только, но потрясающи.

* * *

² Перевод капитального труда его — «Введение в основания нравственности и законодательства» был сделан Ю. Жуковским в семидесятых годах XIX столетия!

Пронеслись века в жизни унылых «бентамитов», все заковавших в броню «пользы», и вот выступает на место один другого — *классы*. «Первый приз» взяли биржевики, капиталисты, торговцы, фабриканты. Но слушайте Одоевского: «Пришли *ремесленники* и объявили: „Зачем нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя в конторе и банке, наживаются? *Мы работаем в поте лица; мы знаем труд*; без нас они не могли бы существовать. *Мы* именно приносим существенную пользу стране и *мы должны быть правителями*”».

Социальный вопрос, «рабочий вопрос», когда Карамзин не кончил еще свою историю! Рабочий вопрос под пером князя-поэта, князя-многодума. На «Русские ночи» мы можем смотреть, как *на общий*, еще до разделений, исток, откуда пошли все русские умственные течения. И эта книга была 50 лет под спудом, не читаема и очень мало известна!

«И все, в ком таилось хоть какое-либо *общее понятие о предметах* (т. е. образованные классы), были изгнаны; ремесленники сделались правителями, и правление обратилось в мастерскую». Да это — «пролетарии всех стран, объединяйтесь!..»

«Ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта (в самом деле, кому же продавать сапоги, если каждый делает сапоги); пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились».

Наступил «рай» трудовой группы первой Государственной Думы, Но еще не пришли толстовцы-пахари. Оказывается, Одоевский и их предвидел!

«За ремесленниками пришли землепашцы. „Зачем, — кричали они, — нам этих людей, — которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы одни приносим существенную пользу; мы знаем первые, необходимые нужды страны и *мы должны быть правителями*”. Так кричали они, — и все, кто только имел руку, непривычную к грубой земляной работе, — все были выгнаны вон из города».

Это «крестьянский союз» Тана-Богораза, и «иллюминация из горящих помещичьих усадеб» Герценштейна, и, наконец, это «сам Толстой», идущий за плугом... Все *предсказал* кн. Одоевский в сжатой мысли Пушкинской эпохи, — той мысли, которая не уснащала каждый свой тезис несколькими подстрочными цитатами из немецких ученых, которая не печатала томов и глав, с делениями и подразделениями, — а умела говорить в «ночных беседах» нескольких друзей, в форме столь же простой и краткой, какую запечатлены все рассуждения Пушкина.

В Пушкине — разгадка князя Одоевского. Это — тот же язык, тот же строй мысли, то же соединение поэзии и «нужд сегодняшнего дня». «Русские ночи» — столь же поэзия и философия, как и политическая экономия, как и трактаты о музыке, — в которой Одоевский был глубоким знатоком. В двух интереснейших отрывках, найденных С. А. Цветковым в Императорской публичной библиотеке и теперь впервые опубликованных («Предисловие» к предположенному, но не осуществленному кн. Одоевским «Полному собранию сочинений» своих и «Примечание к „Русским ночам“»), содержится следующая заметка о Вагнере: «К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его „Тангейзера“ в Париже, где процветает „Плоермель“ Мейербера и даже так называемые оперы Верди, которые в музыке занимают то же место, что в живописи китайские картины, шитые шелком и мишурой». Таким образом, Одоевский был самым ранним у нас «вагнеристом», когда Вагнер только осмеивался в самой Европе... Но это — частность, хоть и знаменательная. Одоевский везде шел впереди своего времени, впереди на несколько десятилетий. И мы, которые по непростительной запущенности нашего книжного рынка не имели столько десятилетий его своим другом, с глубоким «прости нас» возьмем теперь его ведущую и благородную руку, столь твердую и вместе братски нежную...

Ну, это «нежную» я перекидываю от сложения его рта, в котором, по Репину, «весь человек». Рот Чаадаева и рот кн. Одоевского — это целая опера «Верди» в одном случае и Вагнера — в другом. Чаадаев только и умеет поучать, но это до того все «из книг», и из чужих напевов, что не хочется не только учиться, но даже слу-

шать. Что после «писем» Гильдебрандта, Григория Великого, после страниц бл. Августина мог сказать нам маленький петербургский католик:

Скука, холод и гранит...

Одоевский — просто *друг* нам и ничему не хочет учить. Оттого и форма его — не речь, «*моя речь*», как у Чаадаева, и даже не статья или книга, а *диалог*: «беседа друзей ночью», где никто ничего не проповедует, не навязывает; а точно они берут из рук друг друга микроскоп и поочередно рассматривают под ним «мелочь жизни», в которой именно прилежанием внимания и зрения открывают миры...

Большие и нежные его губы, характерно изогнутые, выражают все лицо, весь дух его. В «русской портретной галерее» я не знаю лица, более исполненного мысли. Это — не «позитивная мысль», не «бревно» Спенсера, Бентама или Огюста Конта: это мысль каких-то утонченных цветов, с чудным запахом, попадающих в лесной глуши, где тень чередуется с солнцем, сырость со зноем, где все неопределенно и неожиданно, ново и свежо... И как это прекрасно в его «ночах», что собеседники то рассуждают, то просто *рассказывают*. И в книге столько же простой новеллы, сколько и философии.

Спасибо издателю (г. Цветкову), спасибо и книгоиздательству. «Варварство наше еще не окончательное», не вовсе затоптали нас Бокли и Спенсеры, — и Одоевский запестреет во всех больших и маленьких библиотеках. Он издан очень стильно, без замусоривающих «ученых примечаний», копировально с рукописей и с соблюдением шрифтов, бумаги и заглавного листа тех «времен Одоевского и Пушкина». Спасибо, — и будем читать.

<1913>

М. Г. Горлин

К столетию «Русских ночей»

«Вот, господа, следствие односторонности и специальности, которая нынче почитается целью жизни; вот что значит полное погружение в вещественные выгоды и полное забвение других, так называемых бесполезных порывов души. Человек думал закопать их, законопатить хлопчатой бумагой, залить дегтем и салом, — а они являются к нему в виде привидения: тоски непонятной!»

Этот крик доносится к нам из книги, законченной сто лет тому назад, «Русских ночей» Одоевского. Странная судьба у этого произведения. Одоевский долго работал над своей любимой вещью: в основных чертах она была закончена в 1834 г., но прошло целых десять лет, прежде чем он решился опубликовать ее. Отдельные повести появлялись в журналах, но сама книга увидела свет только в 1844 г. Встречена она была почтительно, но холодно. Скоро ее позабыли совсем. Понадобилась работа целого поколения историков литературы, чтобы вновь обратить на нее внимание; в 1913 году «Русские ночи» вышли вторым изданием. Но, думается, только наше время в состоянии вполне оценить книгу Одоевского. Нужен был горький опыт войн и революций, чтобы понять, насколько правдив тот беспощадный анализ механизации жизни и распада культуры, который содержится в «Русских ночах». Современникам казалось, что «Сиятельный Князь Albert le Grand, Hoffman II» (так называла Одоевского графиня Ростопчина) просто предался мрачному фантазерству.

Три юных философа или, как их тогда называли, любомудра задумываются над судьбой человечества. С светского бала, забыв о мазурке, отправляются они к Фаусту, другу их, мистика и ученому, представляющему собою весьма лестный автопортрет Одоевского. Фауст должен разрешить все их сомнения, ответить на все их вопросы. Он действительно отвечает, однако, не сразу и не просто. У него, оказывается, имеется рукопись каких-то молодых искателей истины. Чтение этой рукописи, состоящей главным образом из аллегорических повествований, и обсуждение ее составляют сюжет «Русских ночей».

Что же содержит эта рукопись? К каким заключениям приходят «молодые искатели истины»? Невеселы их выводы. Культура находится в состоянии омертвения и распада. Все больше и больше стремится каждый уйти в свою область, отгородиться от всего остального, чтобы уединиться в своей специальности. Специализация своей односторонностью разрушает целостность мира. Наука распадается на науки; она уже не способна могущественным обобщением философской мысли объять вселенную. Иссыкают творческие силы; поэт сам уже перестает верить в свое таинственное назначение, он потерял высокий дар вымысла, и искусство «уже не переносится в тот чудесный мир, в котором, бывало, отдыхал человек от грусти здешнего мира». Гибнет наука, гибнет искусство, гибнет и религиозное чувство.

На смену культуре идет механика, бездушный мир выкладок и вычислений, все подчиняющий одной лишь мысли: утилитаризму. Он стремится к одному: к пользе, но ее-то он и не достигнет. Искусственно устроенная, организованная, безблагодатная жизнь уничтожит самое себя. В повестях «Город без имени» и «Последнее самоубийство» Одоевский набрасывает аллегории грядущей катастрофы. Мрачной поэзии полно начало «Последнего самоубийства».

— «Давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; невероятными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного холода... но все тщетно: протекли века и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенствованные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; — еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственной водою, приносили обильную жатву, — но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее; на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя».

Тяжко жить и трудно жить в мире, когда над ним уже нависло проклятие. Надо признаться, Одоевский и сам заражен тем процессом механизации, который его так пугает. Большинство его повестей, несмотря на бутафорию, взятую на прокат у немецких романтиков, лишено освобождающего размаха фантазии; они искусны, но и искусственны, и выдумки в них больше, чем вдохновения. Да и сама форма «Русских ночей», смесь философских диалогов с повестями, изобличает художественную немощь автора: он чувствует, что не может до конца сказать творчеством и поэтому, расталкивая своих аллегорических волшебников, сам выступает на сцену.

На фоне русской литературы XIX-го века, полной творческой жизни, Одоевский явление исключительное. Он один пишет не от полноты, а от недостатка, от пустоты и одиночества, задыхаясь, срываясь, хриплым голосом, порой достигая своеобразной мрачной и сухой гармонии, но чаще запутываясь в собственных холодных измышлениях. Ему одному не хватает воздуха.

Хотя основной тон «Русских ночей» и глубоко пессимистический, заканчиваются они мажорно. Россия призвана спасти дух Европы; ее свежие силы уберут его от умирания. В ней и через нее совершится возрождение культуры. Возрождение это Одоевский понимает несколько внешне. Ему кажется, что для того, чтобы воссоединить в одно целое распадающиеся части культуры, достаточно просто сложить их вместе, как если бы культура была какой-то мозаикой. Поэтому вместо синтеза находим мы у него лишь энциклопедизм, вместо обновления — причудливое соединение старого и нового. Он хочет «самых свежих устриц и самого гнилого сыра, то есть современности индустриальной и материальной и древних пыльных знаний Алхимии и Кабалы», по меткому выражению Хомякова.

А. И. Кошелев
Записки

По окончании экзамена и я и Ив. В. Киреевский поступили на службу в Московский Архив иностранных дел. <...>

В Архив почти одновременно поступили, кроме Ив. Киреевского, Дм. и Алек. Веневитиновы, Титов, Шевырев, Мельгунов, С. Мальцов, Соболевский, двое кн. Мещерских, кн. Трубецкой, Озеров и другие хорошо образованные юноши. Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане; но затем мы вздумали писать сказки так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили писать каждому не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни — по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А. С. Пушкина.

В это же время составилось у нас два общества: одно литературное, а другое философское. Первое, под председательством переводчика «Георгик» С. Е. Раича (Амфитеатрова), собиралось сперва в доме Муравьева (на Большой Дмитровке, где помещалось Муравьевское военное учебное заведение и где впоследствии были училище проф. Павлова, дворянский клуб и лицей гг. Каткова и Леонтьева), а потом на квартире сенатора Рахманова, при сыне которого Раич был воспитателем. Членами этого общества были: Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Ознобишин, Томашевский, Алек. С. Норов, Андр. Н. Муравьев и многие другие. Наши заседания были очень живы, и некоторые из них даже блестящи и удостаивались присутствия всеми любимого и уважаемого Московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки из «Истории Петра I», которою тогда я с любовью занимался.

Другое общество было особенно замечательно: оно собиралось *тайно*, и об его существовании *мы никому* не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. — Мы собирались у кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газетном переулке). Он председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа князь Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав и протоколы нашего Общества любомудрия. Но возвратимся несколько вспять и расскажем о положении дел в последние годы царствования императора Александра I. <...>

Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатого моего брата Мих. Мих. На-

рышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement³. Этот вечер произвел на меня сильное впечатление; и я, на другой же день утром, сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс со степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана. <...>

Между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14-го декабря мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах — кн. Николай Иванович Трубецкой (точно он, а не иной кто-либо — хотя это и невероятно, однако верно: вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам. <...> Предложениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступил великий 1789 год. <...>

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов, один находился под начальством графа Остен-Сакена, а другой — гр. Витгенштейна) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и с своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и отправлять их в Петербург. <...>

Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня. <...>

И. И. Панаев

Литературные воспоминания

(Отрывок)

...Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидал там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности... <...>

³ покончить с этим правительством (фр.).

Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса.

На вечерах Одоевского бывали также довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издали, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно очень поздно.

Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось. <...>

Большинство наших так называемых светских людей того времени отличалось крайней пустотой и отсутствием всякого образования, потому что болтанье на французском языке, более или менее удачное усвоение внешних форм прошлого европейского дендизма и чтение романов Поль-де-Кока нельзя же назвать образованием. Исключений было немного, и к самым блистательным исключениям принадлежал граф Матвей Юрьевич Виельгорский — человек с тонкою артистическою натурою и с большою начитанностию. Остальные не принимали и не могли принимать ни малейшего участия ни в развитии отечественной литературы, ни в каких человеческих интересах, а знали о существовании русской литературы только по Пушкину и по другим, которые принадлежали к их обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается в Жуковском, Крылове (басни которого их заставляли учить в детстве), Пушкине, князе Одоевском, князе Вяземском и графе Соллогубе, который всем своим светским приятелям читал тогда своего «Сережу», еще не появившегося в печати. Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной — вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания. Дух касты, аристократический дух внесен был таким образом и в «республику слова». Аристократические литераторы держали себя с недоступною гордостью и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к ним только с вельможескою покровительственностью. Пушкин, правда, был очень ласков и вежлив со всеми, как я уже говорил, но эта утонченная вежливость была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его, говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица принимали его, как литератора, а не как потомка Аннибалы, пред кем

«...громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин!»

Князь Одоевский, напротив, принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем вступавшим на литературное поприще, без различия сословий и званий. Одоевский желал все обобщать, всех сблизать и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что кроме избранников, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературного толпою, и за свою страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей, которым не было никакого дела до литературы и которые вовсе не хотели сблизаться с людьми не своего общества... Светские люди на вечерах Одоевского окружали обыкновенно хозяйку дома, которая разливала чай в салоне, а литераторы были битком набиты в тесном кабинете хозяина, заставленном столами различных форм и заваленном книгами, боясь заглянуть в салон... Целая бездна разделяла этот салон от кабинета.

Но для того, чтобы достичь вожделенного кабинета, литераторам надобно было проходить через роковой салон — и это для них было истинною пыткой. Неловко кланяясь хозяйке дома, они как-то скорчившись, съездившись и притаив

дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными, не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками.

Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя издатель «Сказаний русского народа» И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах князя Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек, себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облакался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского...

— Пусть их таращат на меня глаза, — говорил он, — мне наплевать, меня не испугают.

Книга Сахарова («Сказания русского народа», только что появившаяся в то время) обратила на себя всеобщее внимание в литературе, и через эту книгу Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами. Он довольно часто появлялся у Краевского.

Кроме Сахарова привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского — отец Иакинф Бичурин, изредка появлявшийся на субботах. Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и ораторствовал о Китае, превознося до небес все китайское.

Он до того окитаился, вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностью стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.

Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.

Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву «о» и не стеснялся в своих выражениях.

Какой-то светский франт перебил его однажды вопросом:

— А что, хороши женщины в Китае?

Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:

— Нет, мальчишки лучше.

Однажды Иакинф проповедывал о том, что медицина в Китае доведена до высочайшего совершенства и что многие весьма серьезные болезни, от которых становятся в тупик европейские врачи, вылечиваются там очень легко и быстро.

— Какие же, например? — спросила княгиня Одоевская.

— Да вот хоть бы кровавый понос, — отвечал он...

* * *

Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная симпатическая наружность, таинственный тон, с которым он говорил обо всем на свете, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее, — все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми волосами и в красном галстухе; различные черепа, какие-то необыкновенной формы стеклянки и химические реторты. Меня поразила даже самая одежда Одоевского: черный шелковый, вострый колпак на голове, и такой же, длинный, до пят сюртук — делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.

Я почувствовал внутреннюю лихорадку, когда он заговорил со мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля Дирина. <...>

Дирина благоговейно любил Одоевского, но одна мысль об его учености приводила его в трепет.

— Меня так и тянет к этому человеку, — говаривал мне Дирин, — в нем столько симпатического!.. Но когда он о чем-нибудь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю дрожь, и язык прилипает у меня к гортани... Меня это мучит, он должен считать меня ужаснейшим дураком.

Дирин и в могилу унес отроческий, раболепный страх к Одоевскому.

У меня этот страх прошел скоро.

Я имел случай не раз убедиться, что под этим таинственным астрологическим костюмом билось самое простое, самое откровенное и чистое сердце, и что все эти ученые аксессуары, так пугавшие новичков, не были нисколько страшны.

Этот человек, приводивший нас с Дириным в трепет своею ученостию, нередко принимал за людей серьезных и дельных самых пустых людей, и самых пошлых шарлатанов за ученых, доверялся им, распинался за них, выдвигал их вперед, и потом, когда их неблагодарность и невежество обнаруживались, он печально покачивал головой и говорил: «Ну, что ж делать! Ошибся...», и через день впадал в такую же ошибку.

Я мало встречал людей, которые бы могли сравниться с Одоевским в добродушии и доверчивости. Никто более его не ошибался в людях, и никто, конечно, более его не был обманут — я уверен в этом. Писатель фантастических повестей, он до сих пор смотрит на все с фантастической точки зрения, и прогресс человечества воображает в том, что через 1000 лет люди будут строить, вместо мраморных и кирпичных, стеклянные дворцы. <...>

Никто более Одоевского не принимает серьезно самые пустые вещи и никто более его не задумывается над тем, что не заслуживает не только думы, даже внимания. К этому еще примешивается у него слабость казаться во всем оригинальным. Ни у кого в мире нет таких фантастических обедов, как у Одоевского: у него пулярка начинается бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и состояются из неслыханных смесений; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом.

В старые годы канун новых годов мы постоянно встречали, и очень весело, у Одоевского: раз, не помню, на какой именно год, к нему собралось более, чем обыкновенно, и в числе других был С. А. Соболевский, один из самых старых и коротких знакомых Одоевского.

Соболевский, тот самый, которого я увидел в первый раз у Смирдина, с Пушкиным, и с которым я познакомился впоследствии, запугавший великосветских людей своими меткими эпиграммами и донельзя беззастенчивыми манерами, приобрел себе между многими из них репутацию необыкновенно умного и образованного человека. Житейского ума, хитрости и ловкости в Соболевском действительно много; что же касается до образования... то образование его, кажется, не блистательно: но он умеет при случае пустить пыль в глаза, бросить слово свысока, а при случае отмолчаться и отделаться иронической улыбкой. Соболевский принадлежит к тем людям, у которых в помине нет того, что называется обыкновенно сердцем, и если у него есть нервы, то они должны быть так крепки, как вязига. Это самые счастливые из людей. Им обыкновенно все удается в жизни.

Для людей мягкосердых и нервических такого рода господ нестерпимы.

Перед ужином Одоевский предупредил всех, что у него будут какие-то удивительные сосиски, приготовленные, разумеется, совершенно особым способом. Он просил гостей своих обратить внимание на это блюдо.

Любопытство насчет сосисок возбуждено было сильно. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но, разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски — увы! не удались и так отзывались салом, что всем захотелось выплюнуть.

Соболевский выплюнул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во все горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех:

— Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.

У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было *esprit de repartie*: он совершенно смутился и пробормотал что-то.

Одоевский, в двадцать лет, вместе с В. Кюхельбекером, был редактором журнала. Он обещал сделаться серьезным литературным деятелем, но после прекращения «Мнемозины» и переезда его в Петербург его литературная энергия ослабевает. Он упадает духом. Многие из родных и друзей его сосланы... Удар 14 декабря отозвался на всю Россию; все сжались и присмирели. В Петербурге Одоевский продолжает заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главную целию делает служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены. Но служба не может наполнять его — и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие-то неслыханные музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюда и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Ириней», и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, — он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях, и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее.

Преследуя пошлый бюрократический формализм, он вводит его, как председатель, в общество посещения бедных и в то же время уверяет, что хочет писать роман, в котором будет осмеивать этот формализм. Не имея никаких придворных способностей, он делается придворным, и это стоит ему страшных усилий.

Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в вицмундире, в белом галстуке и в орденах, и держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала что-то. Сахар почернел.

— Что это вы делаете, княгиня? — спросил я, улыбаясь, — вы отравляете князя.

— Я всегда принимаю несколько капель опиума, — отвечал за нее князь, — от этого я становлюсь бодрее... Я должен ехать на вечер к великой княгине. <...>

Попав в чиновническую и придворную колею, Одоевский незаметно всасывал в себя честолюбие и чиновничество и начал гоняться за различными знаками отличия; но он говорил искренно и чуть не со слезами на глазах, что, имея много недостатков, — он только совершенно чужд одного — мелкого честолюбия — и благодарит за это Бога!

Он утешает себя надеждою, что еще не совсем бросил литературу, что он напишет еще что-нибудь, что у него много разных планов и что для осуществления их ему надо только на время удалиться от своих служебных занятий. <...>

Да, я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевского; вероятно, и Дирин перестал бы бояться его, если бы был жив; но до сих пор я питаю самое симпатическое чувство к этому человеку, который из всех литераторов-аристократов принимал действительное и искреннее участие во всех своих бедных собратах по литературе и обращался с ними истинно по-человечески и без всяких задних мыслей. В нашем обществе это большая заслуга!

В. Ф. Ленц
Приключения лифляндца в Петербурге
(Отрывок)

В 1833 г. князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу, после театра. Прийти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Мошковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигелек, но тем не менее у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, т. е. в просторную библиотеку князя. Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным самоваром, сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи совсем уже готовый. Ее называли *la belle Creole*, так как она цветом лица похожа была на креолку и некогда славилась красотой... У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся *le pere de la comedie*, далее Замятнин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства. Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и не терпящая света княгиня Голицына, *Princesse Nocturne*, как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не ранее полуночи.

У князя Одоевского я встретился с земляком фон-Вегезаком, рижским уроженцем... Он служил под начальством Лавалья в министерстве иностранных дел и впоследствии был министром-резидентом в Ганзейских городах. Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь. Гораздо скромнее и проще держал себя молодой римлянин, друг Григория Волконского, учитель пения, Чиабатта, ослепительной красоты Антиноева голова... По красоте Дантес не мог идти в сравнение с Чиабаттой, но он носил мундир, а мундир надо всем брал тогда верх!..

Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился... Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — *incessu dea pateba*⁴! Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий, подошед ко мне, шепнул на ухо: «не годится слишком на нее засматриваться».

В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят, не прощаясь, и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть, по крайней мере, около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл — Париж. Пушкин только и говорил что про Гофмана; не даром же он и написал «Пиковую даму» в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.

Гофмана я знал наизусть; ведь мы в Риге, в счастливые юношеские годы, почти молились на него. Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил, как книга. «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: *Sa pensee malheureusement n'a pas de sexe*⁵, и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться; «Что такое вы сказали? — спросил меня князь Григорий, — чему он

⁴ когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню.

⁵ К несчастью, мысль его не имеет пола.

засмеялся?» Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике; я должен был бы сказать себе: *si tacuisses, philosophus mansisses*⁶, но я был молод.

Наверху в библиотеке у Одоевского сидел худощавый господин в черном фраке, застегнутый на все пуговицы, со звездой на каждой стороне груди. Я слышал от Бартоломея, что настоящая сторона для звезды левая, хотя бы их имелось и две. Черный господин напомнил мне Магнетизера в Гофмане. Он рассуждал о полемике между Савиньи и Гансом по вопросу о *possesio*⁷, сделавшейся известною благодаря только что прибывшей из Парижа книге Лерминье: *Introduction à l'histoire de droit*⁸, поверхностной, но написанной увлекательным слогом. И все же опять Париж! Черный господин продолжал ораторствовать. Пушкин бросал на него нетерпеливые взгляды: ему очевидно все это страшно надоело. Я испросил себе слова, только потому (как я скромно прибавил), что слушал в Берлине лекции Савиньи и Ганса. Я попал в свою сферу и изложил дело ясно и общедоступно, что не составляет большой заслуги для студента Дерптского университета. Черный господин поднялся с места и прямо подошел ко мне. «Я принимаю по четвергам, — сказал он, — и буду очень рад видеть вас у себя. Я Дегай». Это приглашение имело для меня важные последствия. До сих пор тяжба моя заставляла меня не раз понапрасну стучаться у дверей его; он оставался для меня невидимкой, он, директор Министерства юстиции. Дегай тотчас же определил меня на службу, что было моим самым горячим желанием, ибо Петербург мне полюбился. <...>

Итак, косвенным образом я обязан князю Одоевскому, что поступил на службу. Его звали: *Monmogansu russe* (Русский Монморанси) по древности его рода. Он был ученый музыкант и в игре превосходил меня значительно. Бахова музыка была ему как своя. На Фильдов лад играл он превосходно, прямо читая ноты...

Д. В. Григорович

*Литературные воспоминания
(Отрывок)*

В числе новых знакомых не могу не упомянуть князя Вл. Фед. Одоевского. Его любовь к литературе, его приветливое, ровное обращение со всеми, без различия их звания и общественного положения, собирали на его вечера все, что сколько-нибудь выдвигалось в науке и литературе. Сюда являлись также дамы и мужчины большого света, привлекаемые не столько любознательностью, сколько любопытством и оригинальностью провести вечер в кругу лиц, имена которых знакомы были им по слуху и отличавшихся более или менее своеобразным жаргоном и манерами. Собрания этого рода были тогда новостью. Мысль князя Одоевского соединить, слить светское общество с обществом литераторов и ученых редко удавалась. Светские дамы, обескураженные первыми попытками сближения, оставались охотнее при своих кавалерах; большая часть литераторов и ученых, робко косясь в их сторону, старалась незаметно юркнуть мимо, в кабинет хозяина дома, и только там, в дыму сигар и неумолкаемого говора, чувствовала себя в своей сфере.

Князь Вл. Фед. Одоевский, — человек с несомненным литературным дарованием и, кроме того, многосторонним образованием, — отличался вместе с тем детскою наивностью — чертою, над которою многие смеялись, но в глазах других располагавшею к нему еще симпатичнее. Часто самое ничтожное явление принимало в его уме многозначительное значение и давало повод к сложным выводам и неожиданным заключениям. Раз при мне зашла речь о только что появившихся в Петербурге общественных каретах. Князь Вл. Фед. Одоевский нашел такое нововведение не только полезным для петербургских жителей, но утверждал, что с распространением его по губернским и уездным городам России оно будет

⁶ если бы смолчал, остался бы философом.

⁷ владение.

⁸ Введение в историю права.

иметь важное значение для всего русского народа; задумчиво наклонив голову и понизив таинственно голос по своему обыкновению, он приводил такой аргумент, что дилижансы, отправляющиеся в известный час, приучат мало-помалу русского человека рассчитывать время, чего прежде он не делал по своей беспечности.

Способность все усложнять отражалась даже в устройстве его квартиры; посередине большой гостиной Румянцевского музеума, когда он был там директором, помещался рояль; к нему с одного боку приставлялись ширмы, обратная их сторона прислонялась к дивану, обставленному столиками и стульями разного фасона; один бок дивана замыкался высокою жардиньеркой; несколько дальше помещался большой круглый стол, покрытый ковром и окруженный креслами и стульями. От входной двери шли опять ширмы, отделявшие угол с диваном, этажерками и полочками по стенам. Гостиная представляла совершенный лабиринт; пройти по прямой линии из одного конца в другой не было никакой возможности; надобно было проходить зигзагами и делать повороты, чтобы достигнуть выходной двери.

Любовь к науке и литературе дополнялась у князя Одоевского любовью к музыке; но и здесь его преимущественно занимали усложнения, трудности контрапункта, изучение древних классических композиторов. Владея небольшим состоянием, он израсходовал значительную сумму денег на постройку громадного органа, специально предназначенного для исполнения фуг Себастиана Баха, отчего и дано было ему название «Себастианон». Лонгинов, всюду поспешавший и везде находивший повод к глумлению, не замедлил перекрестить «Себастианон» в «Савоську». Особенною сложностью отличалось также у князя Одоевского кулинарное искусство, которым он, между прочим, гордился. Ничего не подавалось в простом, натуральном виде. Требовались ли печеные яблоки, они прежде выставлялись на мороз, потом в пылающую печь, потом опять морозились и уже подавались вторично вынутые из печки; говядина прошиповывалась всегда какими-то специями, отымавшими у нее естественный вкус; подливки и соусы приправлялись едкими эссенциями, от которых дух захватывало. Случалось некоторым из гостей, особенно близким хозяину дома, выражать свое неудовольствие юмористическими замечаниями; князь Одоевский выслушивал нападки, кротко улыбаясь и таинственно наклоняя голову.

Я. П. Полонский

Из воспоминаний

(Отрывок)

Тургенев когда-то лично знал покойного писателя, князя Владимира Федоровича Одоевского, и высоко ценил его. Я, пишущий эти строки, в 1858 году, незадолго до его кончины, встретился с князем за границею — в Веймаре. Он тотчас же догадался, что я болен, стал навещать меня в гостинице и начал по-своему, гомеопатией, безуспешно лечить меня. Кажется, достаточно было один день провести с этим человеком, чтоб навсегда полюбить его. Но свет глумился над его рассеянностью, — не понимая, что такая рассеянность есть сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе.

Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Одоевский в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудачком, или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры, и его ученость. Даже иные журналисты и те над ним иногда заочно тешились. И это как нельзя лучше выразилось в юмористических стихах Соболевского, которые, по счастью, сохранились в памяти Ивана Сергеевича. Припомнив их, Тургенев несколько раз повторял их вслух и читал не без удовольствия.

Это было в дождливый день не то 29-го, не то 30-го июня. «Случилось раз...» — читал Иван Сергеевич, стараясь читать как можно серьезнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышению своего голоса:

Случилось раз, во время оно,
Что с дерева упал комар,
И вот уж в комитет ученый
Тебя зовут, князь Вольдемар.
Услышав этот дивный казус,
Зарывшись в книгах, ты открыл,
Что в Роттердаме жил Эразмус,
Который в парике ходил.
Одушевясь таким примером,
Ты тотчас сам надел парик
И, с свойственным тебе манером,
Главой таинственно поник.
«Хотя в известном отношении, —
Так начал ты, — комар есть тварь,
Но, в музыкальном рассуждении,
Комар есть в сущности — звонарь,
И если он, паденьем в поле,
Не причинил себе вреда, —
Предать сей казус Божьей воле
И тварь избавить от суда!»

Примечания

В. В. Майков **Сочинение князя В. Ф. Одоевского**
Впервые напечатано: Финский вестник. 1845. № 1.

В. В. Розанов **Чаадаев и кн. Одоевский**
Впервые напечатано: Новое время. 1913. 10 апреля.

М. Г. Горлин **К столетию «Русских ночей»**
Впервые напечатано: Встречи (Париж). 1934. № 3.
Горлин Михаил Генрихович (1909—1943) — поэт и литературовед, ученик профессора М. Фасмера, автор книги «Н. В. Гоголь и Э. Т. Гофман» (1933). Жил в Берлине и Париже, погиб в немецком концлагере.

А. И. Кошелев **Записки**
Впервые напечатано: Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884.

И. И. Панаев **Литературные воспоминания**
Впервые напечатано: Современник. 1861. Т. 85—90.

В. Ф. Ленц
Приключения лифляндца в Петербурге
Впервые напечатано: Русский архив. 1878. Т. I.

Д. В. Григорович **Литературные воспоминания**
Впервые напечатано: Русская мысль. 1892.

Я. П. Полонский **Из воспоминаний**
Впервые напечатано: журнал «Нива». 1884. № 1—8.